HIEVIR

ПЛАКАЛЬЩИЦА · КНИГА ВТОРАЯ



Похороны не нужны. Если имени больше нет.

ЗАКРЫТОЕ ИМЯ

мрачная мистика

Hievir

Закрытое имя

«Автор»
2026

Hievir

Закрытое имя / Hievir — «Автор», 2026

Похороны не нужны. Если имени больше нет. В Нижнем Ломе из года в год исчезают люди: вещи дома, печи топлены, собаки ждут — а человека нет. Их имена вынимают при жизни и запекают в свинец, чтобы положить под опору нового моста. В город приезжает плакальщица Настка — та, что возвращает имена. Теперь под её имя тоже вырезана пластина.

© Hievir, 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава первая. Зимник 5
Глава вторая. Свежий чекан 7
Глава третья. Плач ведёт 9
Конец ознакомительного фрагмента. 10

Hievir
Закрытое имя

Глава первая. Зимник

Мы выехали из Крутовражья в Сретенье, когда лёд на Студёной встал по-настоящему, и обоз наш был небольшой: сани, попутчик-коробейник Тимоха, я и Лёвка. Бабкина рукавица была у меня за пазухой, Титов гвоздь — за пазухой же, а письмо городского головы Нижнего Лома — в голове у меня, откуда я вынимала его всю дорогу, как вынимают лучину: раз за разом, всё новыми краями.

«Ящиков были не один».

В Нижнем Ломе свинец чеканили один. Печать была серийная. И артель, поставившая семь мостов от Лома до Керженска, бралась за такое, за что браться не полагалось.

До устья Студёной добирались три дня, и на все три дня у меня было одно правило — старое, бабкино, самое первое из наших уговоров: о живом не плачут вовсе. Я держалась за него так, как держатся за перила на крутом крыльце, потому что дорога была живая, Лёвка был живой, а я за эти месяцы научилась слышать воду всюду — и в скрипе полозов тоже.

Коробейник Тимоха был разговорчивый, и на вторую ночь, на постоялом дворе у самого устья, где Студёная впадает в большую реку и большая река несёт лёд морем чужим, он вынул из-за пазухи крестик, поцеловал и сказал:

— Ты, девка, из плачей будешь. Я вижу.

— Из плакальщиц, — сказала я.

— Так я и говорю. — Он посмотрел в угол, где за печью темнел вход в заднюю комнату, и добавил тише: — У нас в Ломе их, плакальщиц, целый цех теперь. Обучение, правила, плата по книге. Только вот беда, Настасья Твердова: чем больше в Ломе плачут по правилам, тем больше в Ломе тихих.

— Тихих?

— Ну. — Тимоха пошевелил пальцами, подбирая слово, и, не подобрав, сказал так, как говорят о ветре: — Которых не видишь. Идёшь по улице — люди есть. Оборачиваешься — нет человека. А было-то два. Слышь, у нас за зиму девять штук таких убыло. Вещи дома, печи топлены, собаки ждут. А человека нет. Пишут: уехал. В сентябре — сентябрь месяц какой, морозы какие. Не ездят в Ломе в сентябре, некуда ездить.

Он сплюнул в сторону и добавил то, ради чего я потом не раз вспоминала эту ночь:

— А у большого моста, у третьей опоры, всегда баба стоит с лампадой. Зимой стоит. Стража её гоняет — она не уходит. Стоит и смотрит под лёд. Ты спроси у неё, Настасья Твердова. Она всё знает про тихих.

Лёвка в этот момент вернулся с конюшни, сел на лавку, поморщился — у нас в ушах обоих за ту зиму поселилась вода: не жалкая, не мокрая, а так, на дне, как камешек на дне кувшина, — и сказал в потолок:

— Настка. Река тут подо льдом перекликается.

— Что делает?

— Перекликается. Я лежал на сундуке, слушал. Одна вода скажет — вторая отвечает. Как эхо. Только эхо отвечает позже, а тут наоборот: отвечает раньше.

Я не спросила, что значит «раньше». Я знала, что значит. Эхо отвечает после крика, а то, что отвечает раньше крика, — то не эхо. То — ожидание.

* * *

В Нижний Лом мы въехали на четвёртый день под вечер, и город открылся нам сразу весь — потому что стоит он на высоком берегу большой реки, и семь мостов его переброшены через неё, как семь коромысел, и каждый мост нёс по себе огни, и огни эти падали в лёд, и лёд держал их, как держат ягоды в мутном желе.

— Семь, — сказал Лёвка и сжал полоз. — А строят восьмой. Вон, вон — смотри, за третьим.

Восьмой мост строился в двухстах саженях ниже остальных, на зимнем котловане, за перемычкой, отогнавшей воду, и был он пока не мостом, а обещанием: быки, свайные клетки, леса в четыре яруса, зимняя ярмарка стройки — с ледяными горками для мастеровых детей и с красными флагами на лесах. Красные. У нас в Крутовражье красными флагами не помечают ничего, кроме боен.

А под третьим мостом, на льду, у опоры, стояла толпа.

Мы с Лёвкой шли к ней через лёд, и толпа была тихая — не гудела, а молчала, как молчат на похоронах, — и посреди толпы стояла стража с баграми, и багри притягивали из лунки то, что в лунке плавало.

Утопленник вышел на лёд сам.

Не «его вытащили» — вышел: вода подала его на лёд, как подают утёса на блюдце, и он лёг лицом вверх, и толпа отступила от него на два шага, ровно на два, как отступают все на похоронах, когда первое лицо увидело.

Мужчина лет тридцати, в добром полушубке, бритый, умильный лицом, — не утопленник вовсе по виду: утопленники приходят чёрные, оплывшие, а этот лежал свежий, как лежат в гробу, и вода из него текла, тонко, не кончаясь, и на щиколотке его правой ноги было надето свинцовое кольцо.

Кольцо — пластина, согнутая в обхват, с замком. И на пластине — клеймо.

Квадратное.

Я стояла над ним, и во мне, в том месте, где у меня сидел голос, стало холодно и гулко, как в покойницкой. Я знала это клеймо. Оно было на груди моего деда тридцать три года — четыре квадратные вмятины, по одной под ребром.

— Дайте посмотреть, — сказала я.

Стража хотела меня не пустить, но из толпы, из дальнего ряда, протолкался человек с прутом градоначальника — сухой, важный, с лицом, похожим на сжатый кошель, — городской голова Онуфрий Ковригин, чьё письмо три дня вело нас сюда. Он посмотрел на меня, помолчал и сказал страже:

— Пусти. Это та самая. — И мне, уже тише: — Пиши, Настасья Твердова: сам утопился. Не к чему городу второй позор.

— Не сам, — сказала я.

— А кто же?

— Не знаю, кто, — сказала я. — Но знаю что. — Я опустилась на колени, отогнула у утопленника ворот, нашла на его загривке то, что искала, и показала Онуфрию квадратную вмятину, свежую, как пробой от печати. — Вот это ставят не воде. Это ставят свинцу. А свинец, старшина, у нас на теле не живёт.

Я подняла с льда его ногу и сняла свинцовое кольцо. Оно снялось легко — замок был разомкнут изнутри.

И тут я увидела то, отчего у меня за пазухой, под бабкиной рукавицей, похолодело всё, что там лежало.

Кайма чекана была острая. Заусенцы свинца не стёрты. Гвозди от замка блестели.

Свинец был свежий. Его чеканили не тридцать три года назад.

Его чеканили не больше месяца назад.

Глава вторая. Свежий чекан

Покойницкая в Нижнем Ломе была каменная, двухэтажная, с печью на девять тел и с дьячком при ней, и пахла в ней не водой и не воском, а казённой известью — так пахнут здания, которые построили, чтобы туда класть, а не чтобы там жить.

Утопленника положили на средний стол, и я подошла к нему так, как учила меня бабка: не спереди, а сбоку, чтобы тень моя не легла на лицо раньше моего голоса. Тень на лице — то же, что закрытая дверь: мёртвый запомнит и придёт.

Он был закрытым. Не утопленником — закрытым.

Я скажу, что это значит, потому что в Ломе этого не знали даже плакальщицы, а знать это теперь надо всем, кто живёт у большой реки.

Есть у нас на теле одно, что принадлежит нам, как вода принадлежит руслу: имя. Дано при живом небе, вписано в книгу, отчеканено в устах матери. У человека, у которого имя в порядке, мёртвое тело — пусто: душа ушла, тело лежит, и можно докричаться. А если имя вынули при жизни и запечатали в свинец — то тело живёт без имени, а имя лежит на дне. И когда такое тело наконец тонет, оно приходит не пустое и не полное. Оно приходит как ножны без ножа: в нём остаётся форма того, что вынули. И вода из такого тела не кончается, потому что вода ищет в нём своё имя и не находит.

— Это Маркел, — сказал дьячок, пришедший с книгой. — Землемер Маркел Прокопьев. Он осенью уехал, у него в Дубровы дела были, поместье...

— Он не уезжал, — сказала я.

— Так записано.

— Записано, — согласилась я. — Но не написано. Записать можно и то, чего не было. Ты его в книге поищи не там, где он уезжает, а там, где он не приезжает.

Дьячок не понял. Онуфрий Ковригин, пришедший со своим прутом и своим кошельным лицом, понял и поморщился:

— Девка, у нас тут порядок. Пиши: сам утопился, тело сдать в убыль, свинец в лом.

— Свинец, — сказала я, — не в лом. Свинец я возьму себе.

— На каком основании?

— На том, что он не городской, — сказала я. — Он мой. — И, потому что Онуфрий не понял и не хотел понять, я сказала прямо, как говорят с купцами: — У вас в городе с осени девять человек убыло без тел. Я плакальщица. Ваш утопленник — мой клиент. Свинец — его привязь. Привязь — моя работа. Кому отдать — решу я, а не лом.

Онуфрий смотрел на меня, как смотрят на счёт, который не сходится, и в его лице совершалась та же работа, что я видела некогда в лице Гурия Лыкова: прикидка. Он тоже прикидывал, сколько стоит девка. Потом сказал «пиши сам утопился» дьячку, а мне — «оставь свинец себе, только не при мне», и ушёл, и прут его звякнул на каждом шагу.

Свинец я оставила себе.

* * *

Вечером я сидела в нашей наёмной горнице при открытой двери — у нас с Лёвкой всегда открыты двери, это последнее, что осталось от бабкиных уговоров и первое, что будет в моём ремесле, пока я жива, — и держала свинцовое кольцо в руках, и читала его так, как умею: не глазами.

Имя на пластине было вычеканено наизнанку — так чеканят закрытые имена, чтобы не читались ни бумагой, ни памятью, ни чужой кровью: буквы смотрят внутрь свинца, и увидеть их может только тот, кто носил это имя в устах, не сказав, до срока.

Я не носила. Я тянула голос — как тянула когда-то в пустоту над дедом, — и голос упирался в свинец, как рука в закрытую ставню. И тогда я сделала то, что делаю теперь всякий раз, когда свинец не пускает: перестала тянуть и стала слушать.

И услышала.

Не мёртвого — мёртвый был здесь, на столе покойницкой, за две улицы от меня, и молчал. Я услышала город.

Голос мой, спущенный в свинец, как верёвка в колодец, шёл по нему не вниз, а в сторону — по тёмной воде, по зимнику, по ледяной большой реке, под семью мостами, мимо огней, — и шёл он в город, за три улицы от покойницкой, в трактир «Керженец», и там, в дальнем углу, тёмном, у самой стены, сидел человек, на которого никто не смотрел.

— Настка, — сказал Лёвка от двери. Он вернулся с мороза, у него были ледяные волосы, и в ушах его камешки звенели от холода. — Он плачет о живом.

— Кто?

— Твой утопленник. Я его слышал. Он плачет о живом — как плачут по человеку, который ещё не умер. По самому себе, Настка. Он по самому себе плачет, по будущему. — Лёвка сел, посмотрел на свинцовое кольцо в моих руках и добавил то, что я уже знала и что от его уст всё равно ударило, как полынья: — Его закрыли, пока он жил.

И вот теперь я скажу главное, ради чего городские головы пишут письма плакальщицам за три дня ходу.

Закрытие имени при живом человеке — это не смерть. Это хуже смерти, и потому оно обходило нас, плакальщиц, все эти века стороной: смерть мы умеем доводить, а до небытия докричаться нельзя — там не за что взяться, там нет привязи.

Но привязь у закрытых есть. Привязь у них — свинец.

И свинец этот, при всей его нечитаемости, несёт клеймо.

А клеймо — оно как подпись мастера. И мастер, который чеканил свинец моего деда тридцать три года назад, и мастер, который чеканил этот, месяц назад, —

— один.

Печать была та же.

Глава третья. Плач ведёт

Наутро я пошла в плакальщицкую — и это была не горница с печью, как у нас в Крутовражье, а настоящая палата: два этажа при церкви Рождества, колокол плакальный свой, ученицы в одинаковых платках, и на стенах — правила, написанные на холстах, золотыми буквами, по линейке.

Я встала у входа и прочитала.

«Уговор первый: плач ведётся по книге. Плач по книге не вредит ни плачущей, ни слушающей».

«Уговор второй: плакальщица не имеет права на личный голос. Личный голос есть источник порчи».

«Уговор третий: имя мёртвого в плаче не называется. Имя называется дьячком при внесении в книгу».

«Уговор четвёртый: о живых не звучит ни при каких обстоятельствах».

Четвёртый холст был новый — его холст был ещё пахнущий краской.

— Смоете, — сказала я стоявшей за моей спиной женщине. — Четвёртый уговор. О живом не плачут — это верно. Но живому, у которого имя закрыли, не нужен плач. Ему нужен оклик.

Женщина за моей спиной была старая, прямая, с руками, которые не знали, что такое не знать, — старшая плакальщица Нижнего Лома, Ярина. Она смотрела на меня без улыбки, как смотрят на дождь в сенокос.

— Ты — та, из Крутовражья, — сказала она. — Которая у имени безымянного поймала имя. По брехне городской.

— Не по брехне, — сказала я. — По крови.

— Кровь, — сказала Ярина, — это то, что мы из нашего ремесла вымыли, чтобы ремесло жило. Плач — он как вода в трубе: без трубы — разлив. Ты работаешь без трубы, Настасья Твердова. И потому у тебя в трубе всё, что угодно: живые, имена, свинец. И потому же ты опасна, как разлив.

— А ты у нас безопасна, — сказала я. — И потому в твоём городе девять человек убыло без тел, и ни один не докричан, потому что по книге ты в имя безымянного не играешь: имя не называется. — Я обвела рукой холсты. — Уговор третий, Ярина. Красивый уговор. А теперь подумай: кто его написал? Не плакальщица. Плакальщице называть имя — работа. Его написал тот, кто хотел, чтобы в этом городе никто никогда не докричал того, кого закрыли.

Ярина молчала долго. В палате было слышно, как за окном, на большой реке, идёт лёд — большой лёд, морской, с гулом.

— Холсты писал мой муж, — сказала она наконец. — Он был при артели писчим. Артель ставила мосты, а он писал их обряды в книги, потому что обряды надо в книги: без книги обряд умрёт с мастером. — Она положила руку на четвёртый, ещё пахнущий холст. — Артель забрала его книги назад, за год до того, как кончилась. Мой муж после этого вешался. А холсты мои писаны с его слов, по памяти, и я, Настасья Твердова, не знаю, что в них выправлено, а что оставлено.

— Куда ушла артель?

— Артель никуда не ушла, — сказала Ярина. — Артель осела. Семь мостов стоят, плату города платят пожизненно, мастера разъехались по домам. Остался один — мастер чекана. Тот, что делал свинец. Он и теперь делает, говорят. Живёт над трактиром «Керженец», в подвале горн, и никого к себе не пускает, и город его не трогает, потому что город мостами дышит, а мосты без чекана стоят нельзя: свинец в опорах — договор города и артели, тридцать лет как.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.